



Д. Т. КАПУСТИН

Антон Чехов: долгая зима в Ницце (сентябрь 1897 — апрель 1898)

В конце марта 1897 г. в семье Чеховых случилось несчастье, которое перевернуло как жизнь семьи в целом, так и жизнь Антона Павловича, ее главного столпа. 22 марта едва он вместе с издателем и другом А. С. Сувориным сел обедать в московском ресторане «Эрмитаж», как у него горлом хлынула кровь «по-настоящему», «форменным образом». «Доктора заарестовали меня и засадили в темницу, сиречь в клиники», — пытался отшучиваться Чехов. Но дело было серьезное: доктора клиники А. А. Остроумова (сам профессор находился тогда в Сухуме) без труда установили туберкулезный процесс в обеих верхушках легких. То, о чем писатель догадывался, но не хотел верить (якобы не хватало полноты всех признаков болезни) стало грозной явью. «Эскулапы вывели меня из блаженного неведения», — признавался он сам.

Поклонники Чехова и даже специалисты по его биографии по сей день недоумевают: как дипломированный врач, выпускник Московского университета, практикующий доктор, лечивший этот грозный недуг у других, мог «прозевать» собственную болезнь, признаки которой у него были с 24-х лет. Ведь на его глазах умирал от чахотки брат Николай, самый близкий по духу из всей чеховской поросли, который оформлял тонкими рисунками первые юморески Антоши Чехонте. С пронзительной достоверностью как писатель и врач он отобразил подобную смерть в «Черном монахе» и только что законченных (в феврале 1897 г.) «Мужиках» (которых одни оценили как шедевр, а другие как «грех против народа»). Как мог он столь легкомысленно относиться к собственному здоровью, тем более что тогда туберкулез считался неизлечимым и продлить жизнь (и творчество) можно только бдением и тщательным уходом? Что это — банальный фатализм: «чему быть, того не миновать», «все в руках Божьих»? Или невозможность для свободного таланта «зациклиться» на собственной болезни («болезнь — это кандалы»), считать

перебои сердца и контролировать без конца свои анализы? Ответа нет, «тайна сия велика есть».

Чехов без стенаний, но с грустью воспринял приговор докторов, которые запретили ему «почти все самое интересное — *vinum*, движения, разговоры», предписали изменить образ жизни, проводить зиму на юге, отказаться от врачебной практики и уездных должностей. Сам он планировал поехать на кумыс и надеялся, что «опыты с новым Коховским препаратом дадут благоприятные результаты» и тогда, конечно, поедет в Берлин. Проведя 15 дней в клинике Остроумова (10 дней шла кровь), Чехов возвратился в Мелихово, решив провести лето здесь, самостоятельно продолжить лечение (не посвящая особенно в это родных). 15 апреля он бодро отписал Суворину: «Все обстоит благополучно, самочувствие у меня великолепное и, если бы не надзор за мной и ветер, который дует уже третий день, то было бы совсем хорошо. Бациллы мои поуспокоились, по-видимому, и дают о себе знать только по утрам, когда я кашляю, а больше ничего» (П 6, 330–331).

Но в тот же день Чехов сообщил нечто другое в письме доктору (и общественному деятелю) П. Ф. Иорданову в Таганрог: «Будущее мое неопределенно, но, по-видимому, придется жить где-нибудь на юге. Крым скучен до безобразия, а на Кавказе лихорадка. За границей меня всякий раз донимает тоска по родине» (П 6, 330). Очевидно, что тогда же впервые встал вопрос о судьбе Мелихова, семейной усадьбы, к которой были приписаны («прописаны») и сам писатель, и его родители.

Донимали и финансовые дела. Содержать в порядке имение и семью, не скаредничать, жертвовать деньги на школы и другую благотворительность, постоянно принимать друзей и гостей — это требовало немалых расходов. Но «врачи предписали мне праздность — и я стараюсь следовать этому предписанию, стараюсь не писать». 24 апреля он сообщил старому другу Н. А. Лейкину: «У меня ничего нового, жизнь течет по-старому. По-прежнему я не богат, не женат, пишу мало. В марте лежал в клинике, теперь же чувствую себя недурно и считал бы себя совершенно здоровым, если бы не медикаменты, которые мне прописаны. Погода у нас чудесная, жаркая, изредка перепадают дожди; цветут гиацинты, тюльпаны, завтра будем сажать картофель (в поле); овес посеяли еще до праздника. Береза уже зеленеет» (П 6, 338). Действительно, «весна великолепная, но нет денег — просто беда», — это уже другому адресату, четырьмя днями позднее (П 6, 341).

Все лето, с редкими вылазками в Москву и окрестные села, а также однажды в Петербург Чехов провел в Подмосковье, в своем доме. Писал много писем, читал газеты, книги (Метерлинка), чужие рукописи, приглашал друзей; вычитывал корректуру «Моей жизни» для новой

книги своих рассказов. Пытался разобраться с оплатой собственных публикаций. Волей-неволей вникал в хозяйственные дела и жизнь окрестных деревень. «Урожай будет неважный; цена на хлеб и на сено растет. Болезней нет, — сообщал он Суворину 21 июня. — Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу все более к заключению, что человеку порядочному и не пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче» (П 7, 18).

5 июля в Мелихово приехал художник И. Э. Браз, известный портретист, который по заказу П. М. Третьякова намеревался написать портрет писателя. В жару и установившуюся засуху приходилось позировать по несколько часов в день. Работа затянулась сверх оговоренных двух недель, но в конце концов закончилась неудачей. Портрет не нравился никому, даже самому художнику. «Как будто Вы рыдали, такое страдавшееся лицо», — оценила одна из современниц. Портрет остался незавершенным.

В августе, с окончанием лета Чехов принял решение поехать на юг Франции, сначала в Биарриц, а потом на Лазурный берег.

Биарриц: там, где шумит океан

1 сентября 1897 г. он выехал в Биарриц, намереваясь остановиться там на месяц. Но в Париже его на несколько дней «перехватила» семья Сувориных (без Алексея Сергеевича, который срочно уехал в Петербург по театральным делам). Отсюда 5 сентября Чехов написал родным (на имя Марии Павловны) любопытное письмо, сообщая, что до Берлина добрался благополучно, всю дорогу пил «изумительное пиво», но от Берлина до Кельна немцы-попутчики «едва не отравили своими сигарами». А в Париже приоделся по-парижски (и «поразительно дешево»), целый день ходил по городу, посетил Moulin rouge, «видел знаменитый danse du ventre* при звоне бубнов и пианино, за которым сидит негритянка». И заключал: «Погода пасмурная, но весело. Город любопытный и располагающий к себе» (П 7, 45–46).

В этом письме Чехов отдает сестре важное распоряжение: «Возьми, пожалуйста, у меня в шкафу “Рассказы” (где помещены “Степь”, “Тина”, “Поцелуй” и проч.) и пошли по адресу: Италия. Italia. Roma, S^{re} Ferraris, direttore della “Nuova Antologia”. Напиши: “от автора”».

Там же, т.е. в моем книжном шкафу, возьми “Рассказы”, где “Мужики” и “Моя жизнь”, в желтой обложке (в правой куче) и пошли: Франция. France. Paris, à M^{er} Jacques Merpert. 118, rue de la Pompe» (П 7, 45). (В от-

* Танец живота (*фр.*).

ветном письме Мария известила брата, что «книги посланы». И позднее Чехов передавал уже из Ниццы подобные распоряжения.)

К этому времени Чехов уже как десятилетие был известен в ряде стран Европы; круг его популярности все ширился, хотя еще не были написаны «Три сестры», «Вишневый сад», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие шедевры. В конце сентября «Одесские новости» опубликовали просторную, любопытнейшую статью П. Звездича (П. И. Ротенштерна) — журналиста, переводчика, «Антон Чехов перед судом немецкой критики». В ней он приводил мнение известного немецкого критика Рудольфа Штрауса (из венского еженедельника «Wiener Rundschau») о творчестве Чехова. Тот едва ли не первым из зарубежных критиков заговорил не только о европейском, но о мировом значении творчества русского писателя: «Невероятное стало фактом: мы имеем перед собой могучее, таинственное чудо Стриндбергова содержания в мопассановской форме; мы видим возвышенное соединение, которое казалось почти невозможным, которое до сих пор никому еще не удавалось: мы любим Стриндберга, любим Мопассана, поэтому мы должны любить Чехова и любить вдвойне. Его слава в скором времени наполнит весь мир. Он — блестящий пример художника-космополита на перевороте нашего истомленного века»*.

Сестра переслала Антону этот номер газеты, то же сделал друг и коллега И. Н. Потапенко, приписав: «Можешь на свободе упиться славой». На зарубежную популярность Чехов реагировал без бахвальства, но скрупулезно фиксировал такие переводы и способствовал им, полагая, очевидно, что лишняя копейка (если она вообще выплачивалась за переводы) никогда не помешает. Тем более что и на эту поездку «с натягом» удалось для начала наскрести 1700 рублей и надеяться в будущем на друзей (в случае чего) и новые гонорары от переизданий и публикаций.

8 сентября Чехов прибыл в Биарриц, остановился в отеле Victoria.

В конце XIX в. этот маленький поселок рыбаков и китобоев на Атлантике в глубине Бискайского залива, вблизи границы с Испанией превратился в элегантный и модный курорт. Как острили журналисты, в «бархатный сезон» здесь собиралось местной и европейской аристократии больше, чем было пирожных в прибрежных кафе. Курорт славился мягким климатом — теплой зимой и нежарким летом, а также замечательными многокилометровыми пляжами с мелким песком. Особенностью вод возле Биаррица было то, что они волновались ровными, длинными накатами даже в штиль, с мягким шуршанием набега

* Одесские новости. 1897. № 4099. 29 сентября. С. 1.

на пляж. «Самое интересное здесь — океан; он шумит даже в очень тихую погоду», — отметил писатель.

Чехову понравилось на атлантическом курорте. «В первые дни, когда я приехал сюда, было холодно и сыро, теперь же мне жарко, как в моей духовой печке (спаленка в мелиховском флигеле. — *Д. К.*), — написал он А. А. Хотяинцевой 17/29 сентября. — Особенно жарко бывает после завтрака, который состоит из шести жирных блюд и целой бутылки белого вина. <...> С утра до вечера я сижу на *grande plage*'е, глотаю газеты, и мимо меня пестрою толпою проходят министры, богатые жида, Аделаиды («дама с лорнетом», генеральша, мелиховская знакомая. — *Д. К.*), испанцы, пудели; платья, разноцветные зонтики, яркое солнце, масса воды, скалы, арфы, гитары, пение — все это вместе взятое уносит меня за сто тысяч верст от Мелихова». С юмором он описал дотоле не виданную им испанскую национальную забаву — корриду (иногда не только с быками): «На днях в Байоне происходил бой коров. Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала» (П 7, 52).

Александра Александровна Хотяинцева, 32-х лет, подруга сестры Маши по Строгановскому училищу (кстати, внучка декабриста), стала очередным увлечением писателя. «Великая художница земли русской» — так зачастую обращался к ней Чехов. Ревнивая Лика Мизинова в задиристном письме Антону Павловичу от 12 сентября, нашла ее «очень симпатичной и интересной» и заключила: «Я вполне Вас одобряю» (П 7, 434). Они познакомились в Мелихове всего за пару недель перед отъездом во Францию. Тогда писатель в обществе двух собачонок часто следовал за миниатюрной художницей, шагавшей с мольбертом под мышкой, «озоровал» (как вспоминала М. П. Чехова) и наслаждался остроумной беседой. После отъезда Антоши Павел Егорович, отец, отмечал в своем «хозяйственно-фенологическом» дневнике: «приехали Маша с Хотяинцевой», «уехали Маша с Хотяинцевой», приехали, уехали... Всю осень они писали этюды в Мелихове, иногда Александра делала свои вставки в письма Маши брату. Потом последовали отдельные письма ей самой. Чехов знал о намерении художницы поехать постажироваться в Париж и явно надеялся на продолжение романа.

Неделей ранее Чехов доложил Суворину несколько иное, мужское видение жизни курорта: «Я гуляю, слушаю слепых музыкантов; вчера ездил в Байону, был в Casino на “La belle Hélène”. Интересен город со своим рынком, где много кухарок с испанскими физиономиями. Жизнь здесь дешевая. За 14 франков мне дают комнату во втором этаже, *service* и все остальное. Кухня очень хорошая, изысканная, только одно не хорошо — приходится много есть. За завтраком и обедом, все

за ту же цену, подают вино, rouge et blanc; есть хорошее пиво, хорошая Марсала (сорт десертного вина. — *Д. К.*) — одним словом, тяжела ты, шапка Мономаха! Очень много женщин» (П 7, 49).

А еще на курорте было «очень, очень много» русских. «Женщины еще туда-сюда, — оценивал Чехов, — у русских же старичков и молодых людей физиономии мелкие, как у хорьков, и все они роста ниже среднего. Русские старики бледны, очевидно изнемогают по ночам около кокоток; ибо у кого импотенция, тому ничего больше не остается, как изнемогать». И затем следует венец писательских наблюдений: «А кокотки здесь подлые, алчные, все они тут на виду — и человеку солидному, семейному, приехавшему сюда отдохнуть от трудов и суеты мирской, трудно удержаться, чтобы не пошалить» (П 7, 49). В письме Лике Мизиновой (18 сентября) как бы между прочим сообщил: «Для упражнений на французском языке я завел себе здесь француженку, 19 лет. Зовут ее Марго. Извините меня за это, пожалуйста» (П 7, 53).

Чехов в Беаррице ничего не пишет, («становится немножко скучно — это от безделья»), хотя в записной книжке появляются новые «зернышки» для будущих произведений. Круг его общения мал, ежедневно видится только с В. М. Соболевским, редактором и издателем газеты «Русские ведомости». «Погода чудесная, не скучно», но, как писал он Суворину, «придется скоро покинуть эти милые места и отправиться куда-нибудь на юг, через Париж, конечно. Поеду на Ривьеру, потом, должно быть, в Алжир. Домой не хочется» (П 7, 49).

Алжир? В Чехове опять проснулся путешественник?

В 20-х числах задули ветры, начались дожди, даже случилась буря, и Чехов вместе с Соболевским засобирались в Ниццу, решив миновать Париж (погода отнюдь не способствовала) да и не делать большущий крюк.

Ницца, Pension Russe

Решили остановиться не в дорогом прибрежном отеле Beau Rivage, как ранее с Сувориным, а в Русском пансионе на улице Гуно, более дешевом, в общем, удобном внутри и недалеко от моря (хотя улица была, «узкая, как щель, и вонючая»). Довольно критично описывал пансион Потапенко, приехавший сюда же позднее, в марте 1898 г.: «Самое место, где помещался наш пансион, не отличалось ни бойкостью, ни красотой. Моря отсюда не было видно, да и горы заслонялись высокими домами»*.

«В Ницце тепло; очаровательное море, пальмы, эвкалипты, но вот беда: кусаются комары. Если здешний комар укусит, то потом три дня

* *Потапенко И. Н.* Несколько лет с А. П. Чеховым (К 10-летию со дня его кончины) // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 327.

шишка <...>, — сообщал Чехов родным 25 сентября. — Этот пансион содержит русская дама, кухарка у нее русская, и щи вчера подавали русские, зеленые. Мне хорошо за границей, домой не тянет; но если не буду работать, то скоро вернусь в свой флигель. Праздность опротивела. Да и деньги тают, как безе» (П 7, 57). В пансионе коротали зиму много русских, но, к удивлению, поначалу почти никто Чехова не знал. Лишь одна постоялица смутно вспомнила: «кажется, что-то пишет в газетах».

Свое житье-бытье он описал так (в письме Суворину 1 октября): «В Ницце я живу в русском пансионе. Комната довольно просторная, с окнами на юг, с ковром во весь пол, с ложем, как у Клеопатры, с уборной; обильные завтраки и обеды, приготовляемые русской поварихой (борщ и пироги), такие же обильные, как в *hôtel Vendôme* (в Париже. — *Д. К.*), и такие же вкусные. Плачу по 11 фр. в день. Здесь тепло; даже по вечерам не бывает похоже на осень. Море ласково, трогательно. *Promenade des Anglais* весь оброс зеленью и сияет на солнце; я по утрам сижу в тени и читаю газету. Много гуляю». <...> Часто ем устриц». Чехов надеялся на скорое возвращение Суворина, готов был поехать к нему в Париж, но все-таки приглашал сначала «погреться в Ницце»: «Сидеть на набережной, греться и смотреть на море — это такое наслаждение». Однако «скучно без русских газет и без писем» (П 7, 57).

В Ницце писателя нагнали письма сестры с жалобами на недостаток денег для семьи и укоры отца, мол, «так хозяйство не ведут». Ему пришлось послать им часть от собственных денег и еще разбираться с гонорарами и распоряжениями об отчислениях для семьи. На это потребовались и время и силы, пока все было выправлено.

В пансионе собралась неплохая компания, во всяком случае для бесед и игры в пикет: Соболевский (который, однако, через пару недель уехал в Россию), художник В. И. Якоби (желчный человек, у которого все — «мерзавцы, идиоты, мошенники и сукины сыны»), известный зоолог, профессор Киевского университета А. А. Коротнев — устроитель морской биологической станции в Вилле-Франке (близ Ниццы), князь А. И. Сумбатов (он же актер и драматург Южин) и профессор Ковалевский, к которому писатель проникся явной симпатией. В письме Суворину 1 октября он так охарактеризовал его: «Познакомился с Максимом Ковалевским, бывшим моск. профессором, уволенным по 3-му пункту (т.е. неблагонадежность. — *Д. К.*). Это высокий, толстый, живой, добродушнейший человек. Он много ест, много шутит и очень много работает — и с ним легко и весело. Смех у него раскатистый, заразительный. Живет в *Beaulieu* в своей хорошенькой вилле» (П 7, 62).

В середине октября уехал и он читать лекции в Париже и Брюсселе, однако появилась не менее достойная смена — Василий Иванович

Немирович-Данченко, старший брат знаменитого в будущем режиссера, известный в то время писатель, журналист и путешественник (а к тому же заядлый игрок в рулетку, поселившийся поначалу сразу в Монте-Карло).

Кроме того, вскоре после приезда у писателя завязалась «трогательная дружба» с Н. И. Юрасовым, русским вице-консулом в Ментоне, проживавшим в Ницце (в 30 км), «белым старичком, который с обожанием смотрел на него и возился с ним как с ребенком». «Раз в неделю у него бывали пироги, настоящие русские пироги, и он зазывал к себе Антона Павловича», — вспоминал позднее Потапенко*. Сам Чехов о своем покровителе писал Соболевскому в Петербург 10 декабря: «Превосходный человек, доброты образцовой и энергии неутомимой» (П 7, 115). Юрасов также оказывал ему консульские услуги (заверял бумаги для отправки родным), а его сын, служащий банка *Credit Lyonnais*, помогал с оформлением денежных переводов. Кстати, чудом сохранилась любительская фотография Чехова и Юрасова около *Pension Russe*, сделанная юной переводчицей (и почитательницей) Ольгой Васильевой в январе 1898 г.

Так что оснований жаловаться писателю, что он одинок и ему скучно, было немного. Но, как вспоминал Ковалевский: «Чехов не любил выходить из этого круга. Его мудрено было зазвать в великосветский салон. Да и с приятелями он не всегда был разговорчив»**.

Пожив более месяца в Беаррице и Ницце, Чехов вновь (уже в третьей поездке в Европу) утверждал, что жизнь в Европе для путешественника из России дешева: «Мне живется пока нескучно, еще не надоело. В Ницце тепло; хожу без пальто, в соломенной шляпе. <...> Вообще недурно, но как-то совестно ничего не делать, — это из письма брату Ивану (2 октября). — Жизнь здесь дешевая. Так, большая порция бифштекса или росбива стоит, на наши деньги считая, 37 коп. (т.е. 1 франк по свидетельству самого Чехова. — Д. К.), большой сифон зельтерской воды 10 коп., чашка кофе 10 коп., новые брюки около 3 руб.; на чай дают лакеям от 1½ до 5 коп. Одним словом, человек среднего достатка может прожить здесь месяц за сто рублей роскошно» (П 7, 63).

Оседлое на этот раз пребывание в Европе позволило писателю более пристально присмотреться к обычаям и нравам местного населения, к «культурной атмосфере» ежедневного существования французов. «За границей стоит пожить, чтобы поучиться здешней вежливости и деликатности в обращении, — еще один вывод делает писатель

* Там же. С. 327.

** Ковалевский М. М. Об А. П. Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 362.

в том же письме Ивану, кстати, педагогу по образованию. — Входя в вагон, нужно поклониться; нельзя начать разговора с городовым или выйти из магазина, не сказавши “bonjour”. В обращении даже с нищими нужно прибавлять “monsieur” и “madame”» (II 7, 63). Чехов подмечал также, что даже кухарки здесь носят шляпки, все собаки «непременно в намордниках», а «прачки берут дешево и стирают очень хорошо».

А вот еще острое наблюдение (сестре 7 декабря): «Французы бережливы, и оттого они богаты, так богаты, что даже ропщут на судьбу: некуда девать капиталы. Золота здесь очень много, и оно в бóльшем ходу, чем бумажки» (II 7, 114).

В начале октября Чехова настигает (через Лопасню и Беарриц) письмо писательницы (и давней тайной его симпатии, отвечавшей взаимностью) Л. А. Авиловой, письмо, носящее проблемный характер: мол, герои его рассказов мрачны. В общем, обвинения в мрачности и пессимизме зрелых произведений писателя были не новы. Но важен был немного смешливый, но четкий ответ: «Увы, не моя в том вина! (слова из популярной тогда песенки. — Д. К.). У меня выходит это невольно, и когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, что мрачные люди, меланхолики пишут всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску. А я человек жизнерадостный; по крайней мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удовольствие» (II 7, 67). Как видим, Чехов «ушел» от подробных разъяснений на этот счет, но терпеливо заочно направлял этот «симпатичный талант» до конца дней своих.

В ответе Авиловой содержались еще два важных признания писателя. Во-первых, «за границей, проживу, вероятно, всю зиму, и, во-вторых, «ничего не делаю, не пишу, и не хочется писать». Надо сказать, что Чехов не сразу определился с продолжительностью своего заграничного пребывания: то собирался вернуться к Новому году, то к Пасхе («у меня семь пятниц на неделе»).

Что же касается «ужасной лени», то всего через 11 дней (17 октября) он послал Соболевскому в «Русские ведомости» рассказ «В родном углу» («плод моей праздной музыки»), а через несколько дней еще один, «Печенег». Рассказы не были результатом заграничных впечатлений, это были некоторые из сюжетов, которые «перепутались» в его мозгу, «киснут в мозгу». А тут случились пасмурные дни («сыро и ветрено»), привлекал «аппетитный вид» здешней бумаги и перьев, было «трудно удержаться, чтобы не писать». Сотоварищи Чехова вспоминали, что в эти дни Антон Павлович как бы исчезал из виду, редко спускался к обеде или ужину, а потом появлялся бледный и похудевший. Напряжение

этих дней сразу отразилось на здоровье — случилось кровохарканье (три недели «понемногу, но подолгу»), но он, как всегда, хорохорился: «теперь ничего, прыгаю и чувствую себя прекрасно». Чехов вынужден был поселиться этажом ниже, «подниматься мне не легко».

Несмотря ни на что, в эти дни писатель в своих письмах сообщает: «стал работать», «мне *хочется* писать» (курсив самого Чехова. — Д. К.). А в письме брату Ивану 26 октября намекает и еще на одну причину: «Я ведь стал работать; за качество не ручаюсь, но количество вполне достаточное для того, чтобы прожить безбедно. В займах я не нуждаюсь» (П 7, 84).

В сезон

С ноября на Лазурном берегу начался большой курортный сезон, съезд публики со всех концов света, даже с Сандвичевых островов и из Сиама (сам сиамский король, «похожий на Иваненку»^{*}). Где-то в середине сезона пожаловала и английская королева. Странно было видеть, что в садах и городских скверах высаживали в грунт цветы («маргаритки великолепные»). Начались музыкальные конкурсы, концерты, по улицам с утра ходили оркестры, кружились танцы. В середине зимы был проведен веселый традиционный карнавал. Чехов запросил у Соболевского «редакционный билет», чтобы свободно проходить на мероприятия. Писатель жалел, что «не жывал подолгу за границей». «Природа здешняя меня не трогает, она мне чужда, но я страстно люблю тепло, люблю культуру... — писал он А. И. Сувориной 10 ноября. — А культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией» (П 7, 98).

Конечно, писатель невольно сравнивал все окружавшее его с Россией. «Много русских. Здесь все хорошо, но не во всем, однако, Франция опередила Россию, — докладывал он сестре. — Спички, сахар, папиросы, обувь и аптеки в России несравненно лучше. Здешний сахар не сладок, а конфеты в сравнении с нашими ничего не стоят» (П 7, 91).

«Отщепенец от родины» (согласно братской пикировке Александра), Антон Чехов ни на минуту не отстранялся от литературной и общественной жизни России. Он писал письма и отвечал на присланные, просил друзей и знакомых слать ему не только столичные, но и местные газеты (одесские, таганрогские и др.), передавал эти газеты друзьям или в библиотеку. Читал чужие рукописи и произведения, давал советы. Когда из-за отсутствия денег должен был прекратить существование журнал «Хирургия», он совместно с редактором журнала, профессором П. И. Дьяконовым принял деятельное участие в его спасении.

* Иваненко А. И. — друг семьи Чеховых, музыкант.

В это же самое время в связи с приближавшимся 200-летием родного Таганрога (сентябрь 1898 г.) Чехов вел переписку с П. Ф. Иордановым по созданию там библиотеки и музея, давал толковые рекомендации, сам подбирал и посылал множество книг из Ниццы. Возникла идея просить скульптора М. М. Антокольского, жившего в Париже, сделать для Таганрога копию его петергофской статуи Петра I, ведь именно Петр и заложил Таганрог. (Созданная скульптором в 70–80-х годах XIX в. статуя Петра I была куплена у автора императором Александром III и установлена в Нижнем парке Петергофа. В годы Великой Отечественной войны похищена немецко-фашистскими оккупантами.)

Словом, Чехов в Ницце жил обычной, активной интеллектуальной жизнью, как в Москве и Мелихове, вот только писать за «чужим письменным столом» было очень неудобно, «точно на чужой швейной машине шьешь».

Но не только российские дела привлекали внимание писателя. В дни его пребывания во Франции вновь разгорелось «дело Дрейфуса», вызвавшее огромный общественный резонанс, и не только во Франции. В 1894 г. капитан Генерального штаба еврей Альфред Дрейфус был приговорен к вечной ссылке за шпионаж в пользу Германии. При этом очевидны были не только вопиющие нарушения закона в ходе следствия и суда, но и разнузданная антисемитская кампания, имевшая своей целью прикрыть судебные махинации. Однако пару лет спустя в деле обнаружился явный подлог и развернулась мощная кампания за пересмотр дела, разделившая сторонников и противников на два непримиримых лагеря. Чехов внимательно следил за событиями не только по прессе, но и по стенографическим отчетам. 4 декабря 1897 г. он написал Соболевскому: «Я целый день читаю газеты, изучаю дело Дрейфуса. По-моему, Дрейфус не виноват». Вряд ли Чехов предполагал, какое значение «дело» сыграет для него лично, отразится на отношениях со знакомыми и друзьями.

Известный английский чеховед Д. Рейфилд утверждает, что некто И. Розанов («сладчайший Мордухай Розанов» — по Чехову), еврей, издатель франко-русского вестника» (по чьим-то словам — обладатель «деликатной и чувствительной души» и «обворожительных улыбок») якобы «пробудил в Чехове политическую сознательность» (?? — Д. К.) и «постепенно обратил Чехова в дрейфусара», т. е. сторонника осужденного капитана*. Ученый не приводит никаких аргументов в пользу столь серьезного вывода, кроме их личного знакомства (Чехов лечил в Ницце жену Розанова) и отмеченных выше галантных качеств. Однако — и это самое главное — всем современникам, а потом и био-

* Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2006. С. 575.

графам писателя был известен его независимый, самостоятельный характер (И. Бунин: «Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико»; А. Суворин: «В Чехове было что-то новое, независимое, как будто из другой жизни, <...> как будто жесткость, но жесткость правоты и твердости»; он же назвал писателя «кремень-человеком»). Поэтому данные утверждения Рейфилда о чем-то влиянии представляются весьма сомнительными.

Ну а здоровье, ради чего Чехов приехал на Ривьеру? Увы, оно оставляло желать лучшего. «Самочувствие у меня прекрасное, наружно (как мне кажется) я здоров совершенно, но вот беда моя — кровохарканья, — доверительно писал он Анне Ивановне Сувориной 10 ноября. — Кровь идет помалу, но подолгу, и последнее кровотечение, которое продолжается и сегодня, началось недели три назад. Благодаря ему я должен подвергать себя разным лишениям; я не выхожу из дому после 3 час. пополудни, не пью ровно ничего, не ем горячего, не хожу быстро, нигде, кроме улицы, не бываю, одним словом, не живу, а прозябаю. И это меня раздражает, я не в духе <...>. Только, ради создателя, никому не говорите про кровохарканья, это между нами. Домой я пишу, что я совершенно здоров, <...> если дома узнают, что у меня все еще идет кровь, то возопиют» (П 7, 97–98). Кстати, в эти дни Чехов взвесился где-то на улице (в шляпе, осеннем пальто и с тростью), оказалось 72 кг. И это при росте 184 см (2 аршина, 6 вершков) согласно официальному документу.

Всю осень и начало зимы писателем владела «одна, но пламенная страсть» — поехать в Африку, даром, что до нее казалось рукой подать. Еще в Биаррице он говорил об этом, а в Ницце это стало идефикс. Очевидно, что Чехов договорился об этом с Ковалевским, причем, «не лечиться, а путешествовать», очень ждал его возвращения из Парижа («о поездке в Африку я мечтаю денно и ночно. Когда приедете?») и в письмах разным адресатам без конца твердил: «поедем вместе в Африку» (Суворину), «в январе мы поедем в Алжир» (Соболевскому), «в конце января или начале февраля поеду в Алжир, Тунис» (даже Лике Мизиновой) и всем, всем, всем... Тем более, окружение в Русском пансионе, помимо узкого круга друзей (многие из которых там и не проживали), косвенно подталкивало к этому. «Постараюсь заехать как можно дальше, и чтобы это мое путешествие, хотя немного, походило на труд, а то, право, становится уже совестно, — писал он А. С. Суворину 14 декабря. — Смотрю я на русских барынь, живущих в Pension Russe — рожи, скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как лечимся здесь мы (т. е. я и эти барыни) — это препротивный эгоизм» (П 7, 97–98).

А вот к другой своей противоречивой страсти — игре в рулетку — Чехов этой зимой поначалу, кажется, охладел. «В Монте-Карло я бы-

ваю очень редко, раз в 3–4 недели. В первое время, когда здесь были Соболевский и Немирович, я поигрывал, весьма умеренно, на простых шансах (*rouge et noir*)* и привозил домой то 50, то 100 франков, потом же игру эту пришлось бросить, так как она меня утомляет — физически», — оповещал он Суворина 4 января (П 7, 143). Но причина, думается, была еще и в другом: Чехову было стыдно перед родными. Ведь он жил рядом с крестьянами и прекрасно знал, скольких реальных коров на родине стоят его проигранные деньги в этом «хорошеньком вертепе». Иногда, в минуты скуки, он просто ездил в роскошный Монте-Карло (всего полчаса пути) посмотреть на играющих, потолкаться среди праздной публики. Эти впечатления, как и заметки в записной книжке, отразились позднее ярким эпизодом в «Рассказе неизвестного человека».

Бытует мнение (вероятно, «с языка» Щепкиной-Куперник), что Чехов не знал иностранных языков, потому мыкался по Европе как слепой котенок. Это вовсе не так. Зная латынь (по университету, да и по гимназии), он вполне ориентировался в языках. Попав в Вену в 1891 г., весьма удивился, что не забыл немецкий: «я понимаю и меня понимают». А по-французски вполне мог изъясниться, ежедневно читал французскую прессу (несколько газет и журналов подряд), даже протоколы «дела Дрейфуса», сам давал уроки французского сестре (в письмах). Признавался: «Говорю я дурно, но читаю уже хорошо и могу писать письма по-французски» (П 7, 100). А по свидетельству Суворина собирался переводить Мопассана. Известно также, что Чехов дал на французском интервью парижской газете (которое, однако, сам же снял при подготовке к печати ввиду отсебятины, добавленной корреспондентом).

Знание французского любопытным образом отразилось в творчестве писателя. Вспомним второе действие «Трех сестер» (1900 г., опубликованы в 1901 г.), разговор Вершинина с сестрами, рвущимися «в Москву, в Москву», где их якобы ждет светлое будущее:

Маша. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде...

Вершинин. На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его (13, 149).

* Красное и черное (*фр.*).

Но это же эпизод из жизни Чехова в Ницце конца 1897 г., требующий, однако, расшифровки. 24 ноября он написал Суворину: «Я читаю Charles Vaïhaut, бывшего министра-панамиста, “Impressions cellulaires”. <...> Сколько тут слез, ужаса, скорбных эпизодических фигур (жена), и в то же время сколько тщеславия, постороннего пафоса и мещанства. Человек философствует, приносит великую жертву и в то же время унижается до мелких мещанских попреков» (П 7, 104). «Впечатления в одиночной камере» Шарля Байо, своеобразный дневник-откровение, произвели на писателя сильное впечатление. В 1892 г. бывший министр путей сообщения Франции был осужден на 5 лет заключения в одиночке с конфискацией всего имущества за взятку в 300 тыс. франков от директора компании по постройке Панамского канала. Несмотря на то что он единственный из привлеченных признался в «панаме», а с момента преступления прошло 6 лет, наказание оказалось суровым. Спустя 3 года запомнившийся эпизод «Впечатлений» попал в текст «Трех сестер».

К середине декабря 1897 г. Антон Чехов почувствовал себя одиноко («я остался в Ницце почти один», «начинаю все-таки поскучивать»). Сумбатов, Немирович и Якоби уехали встречать Новый год и Рождество в Россию, Суворин приехал было в Париж (и Чехов пытался зазвать его в Ниццу), но вскоре уехал домой по срочным делам. А те из друзей, кто собирался отдохнуть после Рождества на Лазурном берегу, еще не приехали. Правда, у него были писательские заботы: правил корректуру рассказа «На подводе», который был послан Соболевскому, а также писал еще два рассказа. Один — для журнала «Cosmopolis», не очень популярного в России, издававшегося на 4-х языках (на трех европейских и русском, причем с русским разделом только для российского читателя), а другой — для «милого» В. А. Гольцева, старого друга, с которым даже в письмах (что было редкостью для Чехова) был на «ты».

Редактор русского отдела «Cosmopolis» Ф. Д. Батюшков попросил прислать «интернациональный рассказ» с сюжетом из «местной жизни». Чехов приоткрыл перед ним тайну своей творческой лаборатории (в письме 15 декабря): «Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично» (П 7, 123).

Рассказ «У знакомых», который писался «туго, с урывками», был опубликован в февральской книжке «Cosmopolis'а» за 1898 год. Правда, рассказ не нравился самому автору, и он впоследствии не включил его в первое, лично отредактированное собрание сочинений. А знаменитый «Ионыч» был зачат в Ницце («сейчас пишу, пришлю» — письмо

Гольцеву от 15 декабря 1897 г.) и закончен уже после возвращения в Россию (передан впоследствии в «Ниву»).

В конце 1897 г. случилось еще одно важное событие, оставившее для нас (и всего мира) физический облик писателя тех дней. По просьбе М. О. Ашкенази, корреспондента петербургской газеты «Новости» (псевдоним М. Deline), он сфотографировался 29 ноября у популярного в Ницце фотографа Ж. Фаббио для его статьи «Русская литература после Тургенева» в журнале «Revue Encyclopédique» (9 апреля, 1898). Судя по всему, фотограф сделал два варианта фотографии писателя — только портрет и фото на балконе (в нескольких положениях). На портрете — чистое одухотворенное лицо, ни тени болезни, чуть близорукие глаза, аккуратная бородка с усами. Сестра Мария, получив фото, отметила лишь, что брат «выглядит пополневшим», хотя Чехов отвечал (1 января), что «далеко не так толст, как вышел на фотографии», и вообще почему-то считал, что «вышло скверно». (Впрочем, он критически и с юмором относился ко многим своим изображениям, но любил фотографироваться.) Фотография мастера сделана с французским шармом: «с иголки» пиджак и белоснежная рубашка (или манишка), шикарная, чуть сбившаяся бабочка, необычная для Чехова прическа — она стала шедевром в фотографической Чеховиане. Другие фото Фаббио (в той же одежде, но с измененной прической) — более строгие, но также высокого качества, и одна из них была выбрана Ашкенази для журнала. Несколько фотографий получил сам Чехов. «Карточки вышли удачные, как говорят, но мне дали всего штуки три-четыре, а больше неловко было спрашивать», — написал он в Таганрог А. Б. Тараховскому 20 ноября 1898 г. (П 7, 335).

Художница

В самом конце октября Чехов узнал, что Хотяинцева, очередная его симпатия, приехала для стажировки в Париж. По заключению врачей он не мог ехать туда, в зиму, но слал письма с приглашениями в теплую Ниццу «погреться», обещал встретиться, посылал цветы («чудные розы, гвоздики и фиалки»). Писатель давал адреса своих друзей Ковалевского и Михаила Суворина (сына), не сомневаясь, что они возьмут опеку над художницей. Но та вроде не спешила на Лазурный берег, занималась в столице своими делами. Чехов предупреждал, что комнаты в пансионе нарасхват, и косвенно поддразнивал, мол, «передайте Василию Ивановичу» (Немирович-Данченко был уже в Париже. — Д. К.), что в пансионе поселилась «молоденькая баронесса, которая поет и играет». Наконец художница сообщила, что будет в канун Нового года («пришла в голову бриллиантовая идея вместе

встретить Новый год»). «Буду ожидать Вас к новому году. Буду ожидать с нетерпением», — последовал ответ 19 декабря. И действительно, она приехала 26 декабря.

По-видимому, Александра Александровна приехала rapid'ом. «Ант. Пав. только собирался идти меня встречать, — докладывала она подруге, Марии Чеховой. — В промежутке прогулок завтракаем за табльдотом (хозяйский стол, общее меню. — *Д. К.*). Дамы все идолицы, в особенности одна баронесса, похожая на рыбу. Я, по-видимому, буду их шокировать моим поведением и отсутствием туалетов. Здесь ведь считается неприличным пойти в комнату к мужчине, а я все время сидела у А. П. Комната у него славная, угловая, два больших окна (здесь везде окна до полу), на кровати и окнах белые занавеси» (II 7, 509). Антона Павловича она застала «в хорошем виде и настроении» (заметьте, везде по имени-отчеству, хоть и сокращенно, но никаких фамильярностей. — *Д. К.*).

Александрю разместили в пристройке (мест уже не было). Они вместе гуляли по Английской набережной (хотя погода была пасмурной), обедали в общей зале, давали смешные прозвища пансионским «мордемондиям», а также много беседовали, шутили, вспоминали Мелихово, обсуждали «дело Дрейфуса». И работали, каждый в своей комнате — Чехов писал, Хотяинцева много рисовала, ходила на этюды в порт и на цветочный рынок. Художница в письме подруге Маше вспоминала и такую любопытную подробность ниццких дней: «Утром являлись так наз. сборщики податей — певцы и певицы. Пел недурно только один баритон, но Ант. П. давал непременно всем, даже старику, который пел из “Трубадура” подряд соло, дуэт и хоры. Шарманщику тоже давал, но умолял его уходить без музыки» (II 7, 431).

В эти дни (29 декабря) Чехов шлет такое сообщение сестре: «Вот уже 4 дня как идет дождь. А. А. Хотяинцева не верит, что в Ницце бывает солнце, и, конечно, скучает. Жизнь течет благополучно, но однообразно, вяло и потому неинтересно. Работы скопилось по горло, и я предпочитаю одиночество. Я встаю рано и пишу. Утром мне хорошо, день проходит в еде, в слушании глупостей, вечером киснешь и хочешь одного — поскорее бы остаться solo» (II 7, 138).

А ведь, казалось, он так ждал «художницу земли русской»...

А вот отчет художницы о встрече Нового года — в письме Марии Чеховой от 31 декабря 1897 г., написанный сразу же, по «горячим следам»: «Сейчас, в 10 ч., мы поздравили друг друга с новым годом (в России теперь 12 ч.) и разошлись спать. Пили чай у Ант. П. я и доктор Вальтер, очень милый жид. Ант. П. был приглашен встречать новый год к баронессам (Дершау, соседям по пансионату. — *Д. К.*), о которых он не иначе говорит, как “свиньи” и “черт бы их брал”, и поэтому

предпочел наше скромное общество» (П 7, 511). Доктор В. Г. Вальтер, старый таганрогский знакомый, живший на Лазурном берегу, следил за лечением Чехова, «не позволял ему поздно ложиться спать» (по воспоминаниям Хотяинцевой) и отправлял в постель, «когда прокричит осел» (по странному совпадению начинавший свои крики именно в 10 вечера).

1 января еще одно странное письмо сестре: «Нового года не встречал, лег в 11 часов. <...> Погода опять очень хорошая. <...> Вчера возил я А. А. Хотяинцеву в Монте-Карло и показывал ей рулетку, но она, как вообще женщины, лишена того хорошего любопытства, которое так двигает мужчин, и на нее ничто не производит впечатления. Одета она в то же платье, в каком была в Мелихове. Среди русских, обедающих в Pension Russe, она самая интеллигентная, даже сравнивать нельзя» (П 7, 140).

Однако ничего подобного — зоркий глаз художницы уловил самые важные детали (в письмах Марии): «Во сне сегодня мы будем видеть большие золотые монеты в 100 фр., на которые нагледелись сегодня в Монте-Карло на рулетке. Мы не играли, а только смотрели, и Ант. П. мысленно очень много наиграл, а я все проигрывала. Я, впрочем, только под конец постигла, в чем дело, а то это так быстро производится, глядишь, крупье все загреб своей лопаточкой» (П 7, 511).

Более того, сохранившиеся ее описания окрестностей Монте-Карло и курортных нравов поспорят, пожалуй, с чеховскими: «Вся дорога от Ниццы (поезд идет $\frac{1}{2}$ часа) очаровательная, по берегу моря. Красивые виллы, апельсиновые сады, розы, все это под чудным теплым солнцем, точно у нас в мае. Конечно, только это все чужое, “ненастоящее”, а точно оперная декорация или олеография». Вот еще не только художническое наблюдение: «На Promenade des Anglais гуляет расфранченная толпа богатых, праздных людей. Они даже поворачиваются спиной к морю и рассматривают катающихся. Масса роскошных экипажей, велосипедистов и разных фасонов автомобилей. Вообще в Ницце пахнет миллионами». А ее же описание залов казино Монте-Карло кинематографически выпукло: «Столов много, и везде толпа сидит и стоит, едва проберешься посмотреть. <...> Залы очень красивые, немного темноватые, свет сверху и все наполнено звуком денег — разговоров, кроме ставок и возгласов крупье, никаких»*.

Л. Мизинова узнала новогодние подробности (через Марию) и не преминула «отчитать» Чехова в письме от 13 января 1898 г., видимо, не вполне понимая степень его болезни: «Как же не стыдно Вам было лечь спать в 11 час. под Новый год, когда, специально для Вас,

* Кузичева А. П. Чехов. Жизнь отдельного человека. М., 2010. С. 539.

приезжали его встречать в Ниццу? Неужели Европа не исправила Вас хоть чуточку и не научила простой любезности с женщиной Вас любящей! А я-то уже собиралась Вас поздравлять с Новым годом и с “новым счастьем”!». «Новое счастье» Лика явно с намеком взяла в кавычки (П 7, 511).

Но все это для окружающих прошло, естественно, незаметно. Все видели очень дружеские отношения «пары». Чехов отмечал в письме Суворину 4 января: «Здесь одна русская художница, рисующая меня в карикатуре раз по 10–15 в день», и добавлял — «довольно удачно». А лицом к лицу привычно шутил: «Вы скоро будете большие деньги загребать, как мой брат Николай! Всегда будете на извозчиках ездить!»*

Тонкие карикатуры и рисунки Александры Александровны составили великолепную художественную «Чехиаду», как назвала их сама художница. Легким пером, иные в цвете, с налетом импрессионизма (чему она успела научиться в Париже) отображены эти дни в Ницце. Вот изящные рисунки Чехова, изучающего обеденное меню за табльдотом или стоя на фоне моря (со спины) читающего газету «L’Aurore», а вот оригинальное изображение обитателей пансиона — в перспективе, сидящих за столом. Но лучший, бесспорно, — «По дороге из Монте-Карло»: на переднем плане вальяжный и грузный Ковалевский, «раскинувшийся» на полпролетки, в уголочке — щуплый и понурый Чехов, опирающийся двумя руками на сложенный зонтик, возница на козлах в цилиндре и изящный «цветок» под летним зонтиком среди них — сама художница.

Но ее каникулы в Ницце пролетели. В письме Чехова домой от 6 января она приписывает: «Здесь очень хорошо, на солнце жарко. Мне жаль уезжать, но все-таки завтра двигаюсь. Ант. П. постепенно познакомился со всеми дамами и ухаживать собирается по очереди. Я рисовала на него карикатуру, кот. он отобрал у меня, чтобы я не распространяла дальше. До свидания. А. Хотяинцева» (П 7, 146).

Возникшие среди диаспоры домыслы о взаимоотношениях «парочки» Чехов бесстрастно разбил в письме Ковалевскому 29 января: «Вы спрашивали у Н. И. Юрасова, правда ли, что я женюсь. Увы, я не способен на такое сложное, запутанное дело, как женитьба. И роль мужа меня пугает, в ней есть что-то суровое, как в роли полководца. По лености своей, я предпочитаю более легкое амплуа» (П 7, 162).

Но отношения и переписка писателя и художницы, конечно, продолжались, но «осел уже не кричал». «Очевидно, он кричал только для Вас», — это в письме Хотяинцевой от 21 января о жизни в пансио-

* Хотяинцева А. А. Встречи с Чеховым // Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 607.

не (П 7, 156). А через 3 дня ей же: «Пашквиль получил. Он очарователен. Я в восторге и уже потираю руки при мысли, что рано или поздно Вы попадете в тюрьму за диффамацию <...>. Ночью кричал осел. Что это значит? ... Жду еще пашквилей» (П 7, 159). «Пасквиль» — это, видимо, известная карикатура художницы: Чехов в вагоне, возвращается из Монте-Карло с большим мешком золотых монет и с оружием в руке — штопором, охраняет свое сокровище. Баронессы Дершау — *matan et mademoiselle*, соседки по пансиону, в цветастых одеяниях сидят напротив, притворно оцепенев от страха.

В переписке они продолжали обсуждать «дело Дрейфуса» и пламенное выступление Э. Золя «Я обвиняю» в газете «L'Aurore» 13 января 1898 г., вышедшее тиражом 300 000 экземпляров. Известный писатель в открытом письме президенту Франции обвинял французское правительство в антисемитизме и противозаконном заключении в тюрьму Дрейфуса. Золя подчеркивал предвзятость военного суда и отсутствие серьезных улик. На вопрос Хотьинцевой Чехов отвечает 9 февраля: «Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав. А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усумниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь в ассизах*, всех этих генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы Золя был неправ, и не вижу, какие тут еще нужны *preuves*»** (П 7, 170).

В последующей переписке Чехов подробно рассказывал художнице обо всех последующих событиях в Ницце и в пансионе, о его обитательницах, со многими из которых он постепенно подружился. Опять искушал (3 марта): «Погода здесь изумительная, удивительная. Такая прелесть, что и выразить не могу. Вот когда бы Вам следовало приехать! Повторяю, такая прелесть, что просто одно сплошное очарование» (П 7, 178).

Африка. «Дело Дрейфуса»

Сразу после отъезда художницы Чехов получил долгожданное, но оказавшееся таким разочаровывающим письмо от Ковалевского из Парижа, с которым уже было собрался в Африку: «Нашему путешествию, видимо, не состояться, я пролежал неделю в остром ревматизме сочленений и инфлюэнце, а теперь приходится еще неделю-другую просидеть в кресле...» (П 7, 517). Видимо, болезнь профессора оказа-

* Суд присяжных (*фр.*).

** Доказательства (*фр.*).

лась для него в какой-то мере кстати (если не мнимой), поскольку, как впоследствии выяснилось, у Ковалевского были большие сомнения относительно совместного путешествия. В сохранившемся в архивах его письме к Соболевскому (видимо, еще от 18 декабря 1897 г.) говорилось: «У Чехова еще до моего отъезда из Болье показалась кровь. Слышу, что и теперь это бывает с ним по временам. Мне кажется, сам он не имеет представления об опасности своего положения, хотя, на мой взгляд, он типично чахоточный. Меня даже пугает мысль взять его с собою в Алжир. Что, как еще сильнее разболеется. Дайте совет, как быть!» (П 7, 517).

Не ведая об этих сомнениях друга, Чехов немедленно откликнулся 8 января: «Ваше письмо, дорогой Максим Максимович, меня весьма огорчило, ибо, во-первых, я бредил Алжиром и мне каждую ночь снилось, что я ем финики, и, во-вторых, досадно, что Вы больны и что, по-видимому, в Париже живется Вам невесело». Большая мечта опять рухнула (но это не вылечило писателя от «заразы путешествий»). А настроение упало: «Мне скучновато, — продолжал он. — Работаю вяло, как ленивый хохол. В Монте-Карло не бываю (почти) и уже давно не играл. Игра меня утомляет физически, так как приходится все стоять и потеть» (П 7, 148–149). Расстроенный он по секрету признавался сестре (9 января), мол, «не знает, что теперь делать со своей особой» (П 7, 149).

В начале января 1898 г. произошло еще одно событие, оставившее серьезный след в жизни Чехова. Писатель получил письмо из Канн от некоей Ольги Васильевой, которая просила о встрече. Он не отказал (5 января), и на встречу пришла юная девушка-подросток (как оказалось, 15-ти лет), «маленькая, толстененькая, щеки малиновые» с фотоаппаратом на плече. Она оказалась обожательницей чеховских произведений и попросила разрешения переводить их на английский. При этом она хлопотала с фотоаппаратом, и у Хотяинцевой, свидетельницы событий, создалось впечатление, что из-за наступивших сумерек та не успела ничего сделать. Оказалась, что это не так, фотографии были сделаны и 3 из них присланы Чехову («я вышел так мрачен и темен»). Долгое время их нахождение считалось неизвестным (что было отмечено в ПССП). Однако в последующие годы они были как бы заново обнаружены в чеховских музеях и архивах, идет работа по их идентификации, и их, похоже, оказалось не три. Эти любительские, но «живые» фото оказались весьма ценными свидетельствами тех дней в Ницце.

Что касается переводов, то девушка, много лет проживавшая за границей, не понимала некоторых чеховских выражений и даже таких слов, как «подвода», «латанный», «вобла» и др., просила автора их пояснить. Чехов терпеливо и благожелательно разъяснял, писал серьезные письма, чувствуя, что обожание не ограничивается только

его произведениями. Уже летом, 15 июля, после возвращения Чехова О. Васильева трогательно призналась в письме в Мелихово: «С тех пор, как я побывала у Вас в Ницце, в моей душе нашлось что-то лучшее, чего прежде в ней не было; каждое слово, сказанное Вами, должно быть, навсегда останется в моей памяти. <...> Лучше того времени, которое я провела у вас, светлее его, никогда не будет в моей жизни» (П 7, 594).

Их переписка, а затем и встречи продолжались до самого последнего года жизни писателя (одно время она даже поселилась рядом с его дачей в Аутке). Более того, эта встреча в Ницце оказала весомое влияние на творчество писателя. Чеховеды считают, что юная Оля стала прообразом Ани из «Вишневого сада» (которая «в Париже на воздушном шаре летала!»), а сама история продажи сада взята из ее биографии, причем Чехов непосредственно к этому руку приложил*.

Жизнь на курортной Ривьере продолжалась. К середине месяца потеплело настолько, что зацвели фруктовые деревья, появилась зеленая травка на горах. «Погода здесь очаровательная, просто даже невероятная. Жарко, ярко, тихо», — сообщил Чехов Гольцеву 13 января (П 7, 151). Правда, иногда задувал мистраль, по вечерам становилось холодно.

И все же двумя днями позднее написал матери, что заграница уже надоела и «давно хочется домой». Через каждую пару писем он назначал скорое возвращение домой (в начале апреля, к Пасхе, на Страстной) и все откладывал, откладывал...

В целом ряде писем Чехов сообщал о расслаблении и лени, охватившей его, и что, мол, ему, «хохлу» (одна из бабушек писателя была украинкой. — Д. К.), эти черты присущи вообще. «А вот если бы я не был хохол, если бы я писал ежедневно, хотя бы по два часа в день, то у меня давно бы была собственная вилла, — шутливо написал он из Ниццы 19 января знакомой писательнице Е. М. Шавровой-Юст. — Но я хохол, я ленив. Леня приятно опьяняет меня, как эфир, я привык к ней — и потому беден» (П 7, 155).

Но в те же дни писатель с удовлетворением отмечал, что «во Франции меня часто переводят» — в частности, «Мою жизнь» в «Temps» и «Попрыгунью» в «Revue de Paris».

27 января в письме Суворину он изложил свои последующие планы: «Я уже писал Вам, что едва ли я поеду в Алжир, так как мой спутник Ковалевский заболел ревматизмом и подагрой. Придется, вероятно, ограничиться только поездкой в Корсику, а это отсюда рукой подать. Буду все время жить на юге Франции, сначала поджидать Потапенку,

* См. подробнее: Шалюгин Г. А. П. Чехов в Одессе. URL: <https://www.proza.ru/2010/03/08/570>

потом Вас, согласно Вашего письма, — как говорят чиновники»). Далее в планах писателя значился, конечно, Париж, в марте (там поначалу он собирался позировать Бразу — «опять нужно сидеть и потеть во славу искусства»), а потом «на поезде-молнии в Петербург, оттуда домой на крыльях». И в конце письма довольно откровенно: «Я ничего не делаю, только сплю, ем и приношу жертвы богине любви. Теперешняя моя француженка очень милое доброе создание, 22 лет, сложена удивительно, но все это мне уже немножко прискучило и хочется домой. Да и лень трепаться по чужим лестницам» (П 7, 160).

В начале февраля, когда в Ницце бушевал карнавал («По улицам толпами ходят маски и рожи, на громадных колесницах оркестры музыки. Толкотня, трудно пройти», — из письма матери 3 февраля), в Париже бушевали страсти по «делу Дрейфуса». Еще в начале года (4 января) Чехов написал Суворину: «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Зола благородная душа, и я <...> в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные» (П 7, 143). При этом Чехова поражала и возмущала позиция ряда русских газет, а особенно не чужого ему суворинского «Нового времени», изгалявшегося в своей антидрейфусаровской и антисемитской позиции. Писатель неоднократно называл ее «просто отвратительной» (например, в письме Батюшкову 23 января).

6 февраля он шлет Суворину пространное письмо (едва ли не самое длинное в его эпистолярном наследии), чувствуя потребность выразить свою точку зрения человеку, которого он всегда уважал, в надежде, может быть, переубедить его. «Вы пишете, что Вам досадно на Зола, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Зола, — настаивал Чехов. — В этом своем процессе он, как в скипидаре, очистился от наносных сальных пятен и теперь засиял перед французами в своем настоящем блеске. Это чистота и нравственная высота, каких не подозревали. Вы проследите весь скандал с самого начала» (П 7, 166). И далее шаг за шагом писатель разбирал весь ход процесса, причем по первоисточнику — стенографической записи процесса (Чехов привез его с собой) и на основе опубликованных документов, отстаивая правоту позиции французского писателя.

Письмо внесло охлаждение в отношения недавних друзей. «В деле Зола “Нов. время” вело себя просто гнусно, — писал Антон брату Александру 23 февраля. — По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем в тоне весьма умеренном) — и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных» (П 7, 175). Ковалевский вспоминал позднее, что, убедившись в невинности «оклеветанного еврея», Чехов написал Суворину длинное письмо о том, что «нечестно

травить ни в чем не повинного человека». «Письмо это, как можно судить из ответа, им полученного, произвело ожидаемое действие: уверенность Суворина в виновности Дрейфуса была поколеблена; но это обстоятельство нимало не отразилось на отношении “Нового времени” к знаменитому процессу»*. В одном из вариантов воспоминаний, найденных позднее, Ковалевский записал: «Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответ на одно из таких писем написал ему: «Вы меня убедили». — «Никогда, однако, — прибавил Чехов, — “Новое время” не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом»**.

Личные взаимоотношения Чехова с Сувориным со временем восстановились, но прежняя сердечность и откровенность ушли. А отношения с редакцией «Нового времени» прекратились.

Хотя «делу Дрейфуса» было еще очень далеко до конца (после целого ряда перипетий, апелляций и новых процессов оно завершилось полным оправданием капитана лишь в 1906 г., о чем ни Золя, ни Чехов уже и не узнали), для двух великих писателей и великих граждан своих стран уже тогда в 1898 г. была ясна его подоплека. Оба они заняли высоконравственные позиции как по юридической и политической сути дела, так и в отношении его махровой антисемитской направленности (а Э. Золя даже поплатился в июле 1898 г. приговором в клевете, тюремным сроком на 1 год и штрафом в 3 тыс. франков, но успел на время скрыться в Англии). Кстати, «дело Дрейфуса» служит хорошим контраргументом для тех писучих отечественных и зарубежных умников, которые по сей день любят покопаться в «антисемитизме Чехова».

Опять рулетка. Портрет

Как врач, Чехов не сомневался, что «здешний климат, если жить здесь долго на одном месте, в самом деле излечивает». «Под словом “долго”, — пояснял он, — разумею срок не меньший двадцати дней». И в том же письме В. М. Лаврову 25 февраля замечал: «Здесь розы не лучше наших, травы нет, флора декоративная, точно олеография, птиц не слышно и не видно, но все же здесь лето, несомненное лето» (П 7, 177).

В феврале и особенно в марте Чехов, кажется, почувствовал себя объективно лучше. Несмотря на «скандал с зубом» — неудачным удалением («дантист дергал три раза»), вызвавшим сепсис, «тифозную температуру» и необходимость операции на верхней челюсти, он во-

* Ковалевский М. М. Об А. П. Чехове. С. 363.

** См.: URL: http://chekhov.velchel.ru/index.php?cnt=10&memory=m2_9&page=2

все не по-дежурному писал родным и знакомым, что «вполне здоров», «здоровье мое весьма порядочно», «здоровье поправилось совершенно» («только одна беда: денег нет, <...> уповаю поправить эту беду в течение лета»). 10 марта он афористично написал сестре, что, «здоров, но обленился ужасно, ничего не делаю, а это хуже болезни» (П 7, 183). А тремя днями позднее сообщил Суворину: «Я здоров, но не стал здоровее, чем был; по крайней мере в весе не прибавился ни капли и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь» (П 7, 185). Однако — что более важно — неоднократно констатировал в письмах: «кровохарканий давно уже не было», «в марте кровохарканья не было».

На это время пришелся рулеточный ажиотаж в Русском пансионе. 23 февраля туда опять приехал заядлый «рулетчик» Сумбатов (Южин), а неделей спустя Потапенко с разработанной им системой «гарантированного» выигрыша. «Южин приехал, чтобы выиграть в рулетку несколько сот тысяч на постройку театра; Потапенко приехал, чтобы выиграть миллион, — написал родным Чехов 4 марта. — Южин одет с иголки, у Потапенки же взлохмаченный вид. Играют каждый день, и пока до миллиона еще далеко, очень далеко. Южин проиграл уже 7 тысяч (это секрет, никому не говори в Москве), а Потапенко выиграл только 50 фр. Очень забавно смотреть, когда они играют» (П 7, 179). Чехов тоже поддался искушению, «сбился с пути истины», стал усердным посетителем казино в Монте-Карло и мог «мыслить только числами». И, как он признавался двоюродному брату Г. М. Чехову (5 марта), «днем игра, а по вечерам смех и разговоры» (П 7, 180).

Однако через пару недель ажиотаж закончился: «Потапенко проигрался. Южин тоже проигрался (15 тысяч) и уехал <...> со своей Машечкой (женой. — Д. К.) в Париж», — написал Чехов сестре 22 марта (П 7, 179). А неделей спустя, как выразился писатель, и «Потапенко уехавши», причем занял деньги на отъезд у Чехова и просил его особенно не распространяться о неудаче.

Следует подчеркнуть, в мемуарах Потапенко содержатся интереснейшие, богатые по деталям воспоминания как раз о рулеточной эпопее с Чеховым 1898 года.

Монте-Карло производило на него удручающее впечатление, но было бы неправдой сказать, что он остался недоступен его отраве. Может быть, отчасти я заразил его своей уверенностью (тогда была у меня такая), что есть в игре этой какой-то простой секрет, который надо только разгадать — и тогда... <...>.

И вот он — трезвый, рассудительный, осторожный — поддался искушению. Мы накупили целую гору бюллетеней, даже маленькую рулетку, и по целым часам сидели с карандашами в руках над бумагой, которую исписывали цифрами. Мы разрабатывали систему, мы искали секрет. <...>

Когда припоминал все это, то как будто не узнавал обычно спокойного, сдержанного, рассудительного, уравновешенного Антона Павловича.

Кто из знавших его поверит, что в нем жил азарт? А между тем он углублялся в цифры, старался проникнуть в сущность этих странных комбинаций, разгадать их тайну.

Но, однако же, в этом не было ничего трезвого. Поверить даже на минуту, что в случайных комбинациях номеров, цветов и всяких других шансов могут быть отысканы какие-то законы, — для этого, конечно, нужна была известная доля безумия, которое владеет игроками, делает их слепыми и приводит к гибели.

И вот он, как казалось, поставивший своей задачей трезвость, разумное отношение к жизни, человек несомненно сильной воли, в течение десяти дней верил в это, то есть допускал для себя капельку безумия. <...>

Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. <...>

Дней десять длилось его увлечение рулеткой. Он перестал принимать во внимание мои мнения и сам разрабатывал какие-то способы. <...> Кажется, что в результате всех этих попыток был у него небольшой выигрыш. Это и есть тот опасный момент, когда игрок слепнет и с головой зарывается в игру. А у него вышло иначе. Однажды он определенно и твердо заявил, что с рулеткой покончено: и действительно, после этого ни разу больше не поехал туда. Взяли силу его обычные качества — благоразумие, осторожность, уравновешенность, а главное — ему стало стыдно увлекаться и отдавать силы таким пустякам*.

Справедливости ради следует заметить, что заключительные выводы Потапенко относятся только к 1898 г. В свои следующие приезды в Ниццу в 1900–1901 гг. Чехов опять посещал Монте-Карло, но, как и ранее, играл «по-маленькому», испытывая денежные и, видимо, моральные ограничения.

В эти бурные мартовские денечки писатель продолжал заниматься предстоящим 200-летним юбилеем своей «малой родины» — Таганрога. В письмах Иорданову и двоюродному брату Георгию он сообщил о покупке и пересылке 319 томов 70 французских классических писателей, «чтобы положить начало иностранному отделению библиотеки» («теперь вы, таганрожцы, можете учиться по-французски»). 23 марта Чехов сообщал Хотяинцевой, что поедет домой через Париж, и «умолял на коленях» разузнать, где сейчас М. М. Антокольской.

* Потапенко И. Н. Несколько лет с А. П. Чеховым. С. 315–318.

В Ницце у Чехова оставалось, пожалуй, последнее важное дело. Еще в начале февраля Чехов получил письмо от И. Э. Браза с предложением «повторить» летом в Петербурге попытку написания его портрета по заказу Третьякова (кстати говоря, единственного, которому первый вариант понравился). В ответ (8 февраля) писатель стал соблазнять художника «аки Змий Еву» прелестями французского юга и приглашал приехать для работы в Ниццу. В течение месяца все было улажено, Третьяков согласился оплатить дорожные расходы и заплатить авторские 450 рублей за портрет (меценат предлагал поначалу 400 руб.). 14 марта Браз прибыл в Ниццу.

«Меня пишет Браз. Мастерская. Сижу в кресле с зеленой бархатной спинкой. En face. Белый галстук, — написал Чехов Хотяинцевой 23 марта. — Говорят, что я и галстук очень похожи. Но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену» (П 7, 190).

Пятью днями позднее в письме родным он сообщал, что «голова почти готова» и все говорят, что «я очень похож». «Но, — продолжал он, — портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нем не мое и нет чего-то моего» (П 7, 193). Прошло 11 дней, писатель уже засобирался в Париж, а Браз все не заканчивал сеансов. «Как вам это понравится?» — вопрошал Чехов Хотяинцеву в очередном письме (П 7, 196).

Окончательный вариант писателю все-таки не понравился. Многие разделяли его мнение, что, мол, «не похож», но другие не соглашались с этим. Среди последних был не кто иной, как Левитан, подчеркивавший, что «отлично знает Чехова» и считает портрет «очень похожим». Но Чехов тем не менее не раз утверждал, что этот портрет, навечно занявший место в Третьяковке, неудачен. Сохранились воспоминания, что, посетив галерею Третьякова, он, улыбаясь, постоял с полминуты перед собственным изображением и ушел поспешно (П 7, 556). Этот эпизод остроумно сшаржировала А. А. Хотяинцева, дважды изобразив долговязого Чехова в пенсне стоящим перед собственным изображением в Третьяковке (на одном из шаржей в окружении друзей и почитателей, причем в цвете).

Перед отъездом в Париж Чехов получил, по-видимому, примирительное письмо от Суворина (его письма не сохранились. — Д. К.), на которое «тотчас же» ответил 6 апреля: «Если Вы в самом деле решили проехаться в Париж, то, пожалуйста, поспешите, ибо я пробуду там не более десяти дней. <...> Я приеду на вокзал встретить Вас. А поговорить есть о чем, много накопилось всякой всячины — и чувств, и мыслей. Чувствую я себя сносно; по-видимому, все обстоит благополучно. Пасху проводил скучно, так как вот уже третьи сутки лупит неистовый дождь. Сыро. Хочется в Россию» (П 7, 197).

«Какой город! Ах, какой город!»

12 апреля Чехов наконец покинул теплую (и уже надоевшую) Ниццу и отправился в весенний Париж. Прибыл он туда с сильно расстроенным желудком (что, впрочем, было далеко не впервые) и «грешил» на «конфеты», которыми его угощал в дороге Ковалевский.

Сразу же писатель принялся за главное поручение земляков — поиск встречи со скульптором Антокольским. Она состоялась 16 апреля, и тот согласился повторить для Таганрога свою великолепную скульптуру Петра I. Антокольский счел за честь такой заказ и впоследствии не взял никакого авторского гонорара, хотя уроженцем Таганрога не являлся. В течение этой и последующих встреч были согласованы размеры будущей статуи (намного увеличена сама бронзовая скульптура и гранитный пьедестал, «чтобы монумент был солиднее»), прикинута общая стоимость всех работ. Землякам был сообщен парижский адрес скульптора для связи напрямую. (На следующий год в день празднования 200-летия города, 12 сентября 1898 г., в Таганроге был заложен фундамент и установлен макет памятника. После отливки в Париже и доставки морем, памятник Петру, «один из лучших в России» — по признанию современников, «лучше, чем в оригинале» в Петергофе — по оценке самого автора, был торжественно открыт 14 мая 1903 г. Петр, опершись на отведенную в сторону шпагу, стоит на высоком морском берегу, подставив грудь и лицо свежему ветру, который развеивает его волосы и полы сюртука.)

На первой же встрече Антокольский подарил для будущего музея свою работу «Последний вздох», овал из гипса — голова и плечи распятого Христа. «Верх совершенства в художеств<енном> отношении <...>, и чудесное выражение, которое меня глубоко растрогало, — восхитился Чехов. — Этот подарок будет выслан малою скоростью» (П. Ф. Иорданову, 16 апреля) (П 7, 200–291).

Тем временем родные сообщали, что погода в Мелихове еще «не установилась», снег не сошел и пока холодно, просили повременить с возвращением в Россию. Чехов отвечал 15 апреля, что «Париж очень хороший город, и я согласен жить в нем сколько угодно» (П 7, 198). Он побывал в Версале, «видел там знаменитые фонтаны», был на открытии очередного Salon'a («скульптура мне понравилась, но между картинами мало интересного»), разыскал свою и сестры подругу Хотяинцеву, которая жила «очень далеко, вроде как бы около Ваганькова» (на самом деле, на Монмартре. — Д. К.). «Она живет с другими русскими художницами, очень милыми и добрыми, — сообщил Чехов в письме Марии 20 апреля. — Все они нигде не бывают, живут,

как в Калуге, ведут, по-видимому, жизнь неподвижную и полнеют так, что даже страшно. Ходят в старых просторных платьях, обедают в дешевой кухмистерской и вполне довольствуются обществом <...> чудаков <...>». И все же не приминул подчеркнуть: «Жду от вас телеграммы, когда вы позволите мне ехать домой. Тут живетса интересно и весело, и я ничего не имею против того, чтоб прожить здесь лишнюю неделю, но ведь пора и честь знать. Хочется домой и надоело болтаться без дела» (П 7, 203).

Однако в тот же день в Париж приехал Суворин, и жизнь закрутилась еще быстрее — театр, встречи с друзьями и новыми знакомыми (соотечественниками и французами), завтраки и обеды у И. И. Щукина (коллекционера искусства, брата П. И. Щукина, создателя Щукинского музея), долгие разговоры и дискуссии. А еще покупки подарков для родных и знакомых.

Не утихало и «дело Дрейфуса». «Как обнаруживается мало-помалу, это крупное мошенничество», — сообщил Чехов Иорданову 21 апреля (П 7, 204). Причем выяснилось имя настоящего изменника и виновника преступления — майора Эстергази, а также то, что «документы фабриковались в Брюсселе; об этом было известно правительству». Друзья обсуждали эту проблему. Вот свидетельство самого Чехова (в изложении В. А. Поссе, журналиста, редактора журнала «Жизнь»): «Помню, <...> мы сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах: Суворин, парижский корреспондент “Нового времени” Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг “дела Дрейфуса”. Павловский, как и я, был убежден в невинности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невинного только потому, что он еврей, как это делает “Новое время”, по меньшей степени, непристойно. Суворин защищался слабо, и, наконец, не выдержав наших нападков, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал: “Какая у него виноватая спина!”»*.

Весенний Париж с его часто меняющейся погодой (то «погода чудесная», то «каждый день идут дожди») как бы проверил писателя на результаты его долгого лечения на юге Франции. «Не скажу, чтобы дурная погода действовала на меня дурно, — сообщил он Маше 23 апреля. — Теперь в Париже каждый день дожди, по вечерам бывает холодно и сыро — и я ничего» (П 7, 205). Однако это «ничего» уже два дня спустя подверглось сомнению. «Сегодня у меня показалась кровь в мокроте. Дело пустое, но все же придется весь день просидеть у себя в комнате», — написал он Павловскому (П 7, 206).

* Поссе В. А. Воспоминания о Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 459.

Как бы подводя творческие итоги «курортной зимы», Чехов сообщал друзьям, что написал немного — всего 4 рассказа, к тому же не самых лучших. Но что можно сделать в условиях, когда надо лечиться, а если и выкроишь время для работы, то «испытываешь неудобство, точно повешен за одну ногу»? В записную книжку той поры писатель внес немало «крылатых» записей, которые впоследствии использовал в своих рассказах и повестях: «У бедных просить легче, чем у богатых», «Здравствуйте вам пожалуйста», «Какое вы имеете полное римское право» и другие.

2 мая Суворин с сыном проводили Чехова на Nord express'e в Петербург, куда он прибыл 4 мая. Остановился на отдых и обед у Сувориных. Жена и дочь нашли писателя изменившимся, отметив, среди прочего, «совсем уже не тот веселый, слегка насмешливый взгляд» и «его голос, как-то ослабевший». Утром следующего дня Чехов прибыл в Москву, где застал чудесную погоду, и вечером был уже в Мелихове. Павел Егорович Чехов в своем знаменитом дневнике в одну строку с тем, что «деревья все оделись в зелень», «гром гремит, склонно к дождю», «овес всходит», записал 5 мая: «Антоша вернулся домой»,

Жизнь пошла по знакомому кругу — быт дружной семьи, хозяйственные заботы, прием друзей и гостей, работы в саду, театральные дела, письма и, конечно, творчество — «моя машина уже начала работать».

Это было последнее семейное лето в Мелихове, когда все еще живы, когда все дома.

